

**THE
NEW REVIEW**
Новый Журнал

Основатели

М. АЛДАНОВ и М. ЦЕТЛИН

С 1946-го по 1959-й редактор М. КАРПОВИЧ

Двадцать четвертый год издания

РЕДАКЦИЯ:

Р. Б. ГУЛЬ, Н. С. ТИМАШЕВ

NEW REVIEW, December 1965

Quarterly, No. 81

2700 Broadway, New York 25, N. Y.

Subscription Price \$9. — for one year

Publisher: New Review, Inc.

Second Class Mail postage paid

at New York, N. Y.

О Г Л А В Л Е Н И Е

	Стр.
<i>Г. Газданов</i> — Пробуждение	5
<i>А. Величковский</i> — Сон, поэма	34
<i>Ю. Марголин</i> — Книга о жизни	37
<i>И. Елагин</i> — Ниагара	75
<i>Г. Адамович</i> — Оправдание черновиков	78
<i>Н. Туроверов</i> — Стихи	97
<i>К. Померанцев</i> — Стихи	98
<i>Последняя статья Льва Лунца</i>	99
<i>А. Раннит</i> — Стихи	104
<i>Вл. Дукельский</i> — Из американских поэтов	105
<i>Ю. де Бособр</i> — Стихи из тюрьмы	108

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

<i>М. Грин</i> — Письма М. Алданова к И. А. и В. Н. Буниным	110
<i>Н. Валентинов</i> — Ленинец раньше Ленина	148
<i>Е. Тагер</i> — О Мандельштаме	172
<i>Стихи из СССР</i> — О царе Никите	200

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

<i>Л. Бинсвангер</i> — Воспоминания о С. Л. Франке	209
<i>Ф. Степун</i> — Вера и знание в философии С. Л. Франка	227
<i>Д. Анин</i> — Русская революция и либерализм	231
<i>Н. Кошелев</i> — Идея свободы — в русском народе	251

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ:

<i>В. М. Зензинов</i> — Записи	271
--	-----

БИБЛИОГРАФИЯ: *Л. Закутин*: — С. Л. Франк. Душа человека. *Д. Чижевский* — Русские поэты XIX века. *Д. Чижевский* — Новые книги о Достоевском. *Ю. Иваск* — Ants Oras. Acht estnische Dichter. *Ю. Иваск* — V. Markov. The longer Poems of V. Khlebnikov. *Ю. Офросимов* — И. Гундулич. Слезы блудного сына. *О. Анстей* — Л. Алексеева. Прозрачный след. *Д. Чижевский* — И. Гундулич. Слезы блудного сына. *Л. Алексеева* — К. Пестрово. Цветы на подоконнике. — *Книги для отзыва*. 277

PRODUCED BY RAUSEN LANGUAGE DIVISION
150 VARICK STREET. NEW YORK, N. Y. 10013

РУКОПИСЬ ИЗ СССР

О МАНДЕЛЬШТАМЕ

ВОСПОМИНАНИЯ Е. М. ТАГЕР

ПУБЛИКАЦИЯ И КОММЕНТАРИЙ Г. П. СТРУВЕ

Печатаемые ниже (впервые полностью) воспоминания об О. Э. Мандельштаме, записанные в 1962 г., принадлежат перу Е. М. Тагер, скончавшейся в Ленинграде в июле 1964 г.

Елена Михайловна Тагер родилась в Петербурге в 1895 г. Ее отец, еврей по крови, служивший по железнодорожному ведомству, принял православие, чтобы жениться на русской. Е. М. выросла в православной атмосфере и в молодости во всяком случае была очень религиозной. Окончив гимназию Стоюнной, где ее директором был известный педагог и естествовед В. А. Герд, а учителем русского языка и литературы — поэт и критик Владимир Васильевич Гиппиус, она поступила на Высшие Женские Курсы, сначала на естественное отделение, но через год перешла на историко-филологическое. Стихи начала писать рано и печатала их во время Первой мировой войны под псевдонимом «Анна Регатт». Была связана с Кружком поэтов при Пушкинском обществе в Петербургском университете и с знаменитым Пушкинским семинарием С. А. Венгерова, дружа лично с несколькими выпестованными в этом семинарии и впоследствии прославившимися пушкинистами (Ю. Н. Тыняновым, Н. В. Измайловым, Ю. Г. Оксманом и др.). В 1916 г. вышла замуж за поэта и тоже пушкиниста (ряд его пушкиноведческих работ был напечатан в 1914-1917 годах) Г. В. Маслова (1895-1920), много обещавшего, но рано окончившего свой жизненный путь. Летом 1917 г. они с мужем уехали в Симбирск, где жили родители Г. В. Маслова, и вскоре Е. М. оказалась отрезанной от мужа: Г. В. поступил во время т. н. «чехословацкого восстания» в белые войска и ушел с армией на восток, а в марте 1920 г. при отступлении армии

Колчака заболел сыпным и возвратным тифом и умер в больнице в Красноярске.

Е. М. оставалась в Поволжье и работала сначала у белых, а потом на советской службе в Самаре. Была также связана с созданной Гербертом Гувером американской организацией помощи (т. н. АРА), в связи с чем уже позже, по возвращении в Петроград (в конце 1920 г.), была обвинена в «экономическом шпионаже», и выслана в Архангельск, где прожила несколько лет и снова вышла замуж, за некоего Н. А. Авдеева. Брак этот оказался неудачным и был недолгим. Как от первого, так и от второго брака у Е. М. было по дочери.

В 1927 г. Е. М. вернулась в Ленинград и приняла участие в литературной жизни. В 1929 г. вышла книга ее рассказов «Зимний берег». Многие рассказы были навеяны впечатлениями от жизни на севере. Книга эта была переиздана в 1957 г., но без едва ли не лучшего рассказа («Попадья»).

В 1939 г. Е. М. постигла новая и куда горшая беда, о которой она упоминает лишь бегло в своих воспоминаниях: она была арестована, ей было предъявлено снова фантастическое обвинение в «экономическом шпионаже», но на этот раз и в сотрудничестве с «фашистской разведкой». Какую-то роль в ее деле сыграл поэт-футурист Бенедикт Лившиц, с которым ей была устроена очная ставка (сам он тоже вскоре после этого погиб). После десятиминутного разбирательства дела (при закрытых дверях) Е. М. была приговорена к десяти годам лагеря. Эти десять лет она провела на Дальнем Востоке (Кольма, Магадан), после чего прожила еще шесть лет «на поселении» в Западной Сибири и Средней Азии. В 1954 г. Е. М. вернулась в Москву, но только в 1956 г. полная «реабилитация» ее была оформлена, и ей назначена была пенсия.

В журналах изредка стали появляться ее стихи, ее книга рассказов — как уже было сказано — была переиздана, хотя и не полностью. В 1961 г. в «Ученых Записках» Тартусского Университета появились ее воспоминания о Блоке, которого она, правда, лично не знала, но от которого получила два письма. Ею была также написана книга об Афанасии Никитине и его пребывании в Индии. Книга эта была отвергнута советскими издательствами на том основании, что на ту же тему уже появились недавно две книги. Но возможно, что она будет издана посмертно.

Перед смертью Е. М. работала над романом «Светлана» — из жизни В. А. Жуковского, который почти закончила. Таким образом она вернулась к своей и своего мужа первой литературной любви — пушкинской поре.

Е. М. скончалась — повидимому, во сне, от разрыва сердца — около 12 июля 1964 г. Ее нашли мертвой, сидящей в кресле, когда взломали замок в квартире, где она жила, после того как приходившая к ней ежедневно делать уколы медицинская сестра два дня подряд не могла достучаться до нее. Е. М. жила в это время совсем одна — жившая с ней до того внучка (дочь ее дочери от второго брака) уехала на каникулы к матери на Урал.

Отдельные отрывки из воспоминаний Е. М. Тагер о Мандельштаме были напечатаны (частью анонимно, поскольку они набирались еще при ее жизни) в первом томе Собрания сочинений Осипа Мандельштама под редакцией Г. П. Струве и Б. А. Филиппова (Вашингтон, 1964). Два небольших отрывка под заголовком «Две записки» появились также в четвертом выпуске альманаха «Воздушные Пути» (Нью Йорк, 1965).

Глеб Струве

*Честолюбивый сон он променял на сруб
В глухом урочище Сибири...*

О. Мандельштам

Не вспомню точно — была ли я в последнем классе гимназии или уже на Бестужевских курсах, когда на каком-то литературном концерте мне показали худощавого юношу среднего роста с острыми чертами лица, с недоверчивым быстрым взглядом из-под длинных ресниц. Подруги-столуницы пояснили:

— Мандельштам, тенишевец. Пишет стихи.

Тоже мне сенсация! Да какой же тенишевец в начале десятых годов не выступал со стихами?

Писал стихи мечтательный сероглазый Виктор Жирмунский,¹ поклонник лирики Владимира Соловьева и знаток (уже в те годы) раннего немецкого романтизма. Он восклицал печально:

Не может быть, что нет тебя со мной,
Что я один остался в вихре бала.
Я все цветы отдам тебе одной
И всё отдам, что только сердце знало.

Писал стихи начинающий критик Юрий Никольский² — нескладный, сутулый, некрасивый, как гадкий утенок. И глаза у него загорались голубым огнем, когда он читал:

Всё полно тихими снами,
Закат стал пурпурный,
И протянулся меж нами
Сказочный мостик ажурный.
Только неслышно дремали
Под мостиком темные воды.
Звали в какие-то дали,
Ждали какой-то свободы...

И длинноногий Миша Пергамент, «как дэнди лондонский одет», с тщательной укладкой гладких черных волос, небрежно грассировал с эстрады:

В тишине ночных полей ждет моя могила,
Принеси мне орхидей с Голубого Нила...

А мы слушали. И не спрашивали, цветут ли орхидеи в дельте Голубого Нила, и зачем потребовалось Мише Пергаменту это редкое растение. Совершенно искренне мы принимали данные упражнения за поэзию. В самом деле, рифма налицо, метр соблюдается, — что же тут придирааться?

И у многих, многих моих подруг братья родные и двоюродные, проходившие последние семестры Коммерческого училища княгини Тенишевой, писали стихи, — то чуть получше этих, то чуть похуже, то совсем хорошо, то совсем плохо. И вот еще этот остроглазый Мандельштам, — тоже тенишевец и тоже пишет стихи. Подумаешь, удивил!

Только он действительно удивил — и очень скоро, и очень глубоко. Появилась книжка — тонкая как революционная брошюра. Серозеленая обложка и на ней прямые черные буквы: КАМЕНЬ.³ Обыкновенный камень, не самоцветный жемчуг-маргерит, не «кусоч сбереженного кварца», как у Бальмонта, как у Брюсова, — а просто-напросто камень — неотесанный, негранный и, должно быть, тяжелый. Странное название для первого сборника молодого поэта...

Читаю страницу за страницей — и удивляюсь всё боль-

ше. Кое-что из этих стихов мне уже встречалось в журналах. Но, собранные вместе, они бьют по сердцу с неведомою силой. Ничего изысканного. Никаких голубых орхидей и ажурных мостиков. Все слова — общеизвестные, все взяты в их прямом и строгом значении. До чего это просто, Боже мой, до чего это просто!

В кустах игрушечные волки
Глазами страшными глядят...

Да, страшными, воистину страшными, хоть и игрушечные... Или еще: «Кинематограф. Три скамейки...» Точно — до прозаизма. А дальше — нарастающий гул урагана:

Разлука. Бешеные звуки
Затравленного фортепьяно.

Или это:

Над желтизной правительственных зданий
Кружилась долго белая метель,
И правовед опять садится в сани.
Широким жестом запахнув шинель.

Как непринужденно сменяются эти ясные образы! Нет, этот не будет звать в «какие-то дали», ждть «какой-то свободы». Он точно знает — **какие** дали и **какая** свобода. Он безошибочно назовет их, если будет нужно. Но — будет ли?

Ни о чем не нужно говорить,
Ничему не следует учить,
И печальна так и хороша
Темная звериная душа...

Нет, после Пушкина нам еще не встречалось такого пристального, такого сильного зрения. И такого совершенства в определении, в назывании предмета. Каждое явление высмотрено, понято, уложено в памяти, отпечатано в сознании, —

Как на фаянсовой тарелке
Рисунок, вычерченный метко...

Казалось бы, после творческого акта — как не оглянуть-

ся, как не залюбоваться сотворенным, как не сказать себе, что «это хорошо»? Нет, — **этому** оглядка не свойственна. Он сотворил, осознал, дал имя — и вот уже отошел, отвернулся.

И плывет дельфином молодым
По седым пучинам мировым.

Он совсем не дорожит достигнутым. Он даже согласен, чтобы оно, увиденное, осознанное — снова стало небывшим:

Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись...

И углубляясь в его открытия мира — я удивляюсь всё больше, всё больше — и ему, и миру, и себе, — как это я до сих пор этого не знала.

Самое глубокое удивление, самое знаменательное открытие оказалось для меня связано со стихами:

Сегодня дурной день,
Кузнечиков хор спит...

Я знала Пушкинские ямбы, знала Блоковские паузники, а с **такой** мелодикой еще не встречалась. Обычно, стихи я читала себе вслух. Но не искушенная в античных метрах — прочитала их не мудрствуя, как трехстопный ямб. Получилась бессмыслица: **так** эти стихи не существовали. Попробовала и так и эдак, и набрела на догадку: подчеркивать голосом удары ритма, не смущаясь тем, что два ударных слога приходится рядом. И стихи Мандельштама зазвучали! Зазвучали как псалом, как торжественнейшая музыка!

Явлений раздвинь — грань,
Земную разрушь — клеть
И яростный гимн — грянь,
Бунтующих тайн — медь!

Какой-то толчок в сознании, какая-то минута просветления — и мне стало ясно, что значит ритм как основа поэтической речи. И это было уже навсегда. А в мое восхищение сти-

хом Мандельштама проник — и тоже навсегда — оттенок признательности за то, что он мне это открыл.

Познакомиться лично с поэтом было для меня неизбежно. Мы с ним принадлежали к одному поколению. Мы происходили из одного слоя петербургской русско-еврейской интеллигенции. У нас имелись общие друзья. Нас учили одни и те же учителя.⁴ Мы были одного поля ягоды. Мы непременно должны были встретиться.

Как нередко бывает в больших городах — первое знакомство состоялось по телефону. Вот как это случилось:

Стояла чудесная солнечная сверкающая весна 1916-го года. Я задумала отпраздновать мой «день ангела» (21-е мая) новым способом. Отменив обычную именинную вечеринку, я пригласила двух-трех моих близких подруг и несколько знакомых студентов провести целый день за городом, в Павловске. Мы сели в утренний поезд, запасшись большим тортом и надлежащим количеством конфет. В полдень добрались до дворцовой Павловской фермы; там, в ожидании кофе со сливками, кормили тортом великолепного павлина и читали хором стихи — преимущественно ранние Гумилевские: «Орел летел всё выше, всё вперед...», «Он поклялся в строгом храме...», «Юный маг в пурпуровом хитоне...»

Нашим хором дирижировал очень милый юноша В. Г. Р.⁵ — у него тоже была неистощимая память на стихи; на строфах Блока и Гумилева и завязалась в те дни наша дружба. Может быть, для придания себе весу в девичьих глазах, а может быть и от чистого сердца, Р. не раз упоминал своего хорошего знакомого, молодого поэта Осипа Мандельштама, — и даже вызвался пригласить его на наш пикник.

Много стихов было прочитано, много кофе выпито, и пышный торт заметно поубавился, когда я напомнила Р-у его намерение:

— А где ж ваш Мандельштам?

— Он как раз вчера приехал из Москвы. Я ему звонил, — он хотел примкнуть к нам. Наверное, всё забыл или перепутал. Чудак рассеянный... вот будет жалеть.

Я сложила в коробку остатки торта.

— Передайте это ему. Чтоб еще больше жалел...

На другой день меня попросили к телефону. Я не узнала

голоса, но узнала интонацию: где-то я слышала эту напевную, скандирующую речь.

— Говорит Мандельштам... Я вам благодарен. Я искренне тронут. Подумать только, — мне было страшно открыть коробку. А вдруг там какой-нибудь ужас? Вдруг — лягушка? Вдруг — крыса? И что же я вижу? — роскошный торт! Ах, как жалко! Ах, как жалко!

Напевные интонации переходят в патетические.

— Жалко — чего? — спрашиваю. — Что вам оставили мало торта?

— Ах, нет! Что я не попал на ваш праздник! Нет, я не мог... Ах, я не мог! Но мы еще увидимся с вами...

Мы и вправду увиделись — и очень скоро. Еще не прошла сверкающая, залитая солнцем весна. На Елагином в молодой траве еще мелькали белые ветреницы, а на Невском уже продавали сирень. И курчавые летние облака уже разгуливали «на бледногубой эмали, какая мыслима в апреле...»⁶

В такое лучезарное утро меня «вызвонили» с Тучковой набережной в Саперный переулок к Анне Яковлевне Т.⁷ С этой чудесной женщиной я была связана по организации Детского Городка. Это было нечто вроде клуба для детей воинов, ушедших на фронт, и вообще для безнадзорных детей городской бедноты. Мне там приходилось быть затейницей, сказительницей, экскурсоводом и лектором, — всё это, разумеется, в порядке чистого энтузиазма. Я с увлечением работала и сердечно привязалась к руководительнице и вдохновительнице этого дела.

Анна Яковлевна была примерно вдвое старше меня, «но как-то трогательно больно моложава». Неотразимо привлекали ее лучистые глаза, ее музыкальная, с легкой запинкой речь. Муж ее был видный адвокат с внушительной внешностью русского богатыря. У них подрастали две хорошенькие дочки. Несмотря на разницу лет и состояний, Анна Яковлевна держалась со мной как подруга. Вскоре приехала из Москвы ее младшая сестра Лиля и стремительно подружилась со мной. Красивая, темпераментная Елизавета Яковлевна была, видимо, причастна к революционному движению; похоже было, что кто-то близкий ей отбывал тюремное заключение; она всё время хлопотала о передачах, писала письма в «Кресты» и с трогательным вниманием вкладывала в них то цветочный ле-

песток, то стрекозиное крылышко. Мне это всё бесконечно нравилось. Мы с ней часами разговаривали о Блоке, с которым нам обоим страстно хотелось познакомиться, и о Максимилиане Волошине, с которым Елизавета Яковлевна была давно и дружески знакома. И, конечно, потоком лились стихи. Случалось, что поздно вечером Елизавета Яковлевна звонила мне: «Прочтите 'Что же ты потупилась в смущеньи'» — и я читала ей по телефону одно, другое, десятое, — и вешала трубку далеко за полночь...

Обе сестры с нежностью говорили про своего брата Сережу. Часто упоминали его замечательную жену Марину, своеобразные стихи которой, наделенные неистовой силой, печатались в петроградских и московских журналах. Сестры рассказывали, как Сергей и Марина, встретившись у Волошина в Коктебеле, поженились к изумлению и недовольству родных, хотя им было всего по 18 лет; как из-за этого раннего брака Сережа оставил гимназию и, женатый уже, сдавал экстерном на аттестат зрелости. Рассказывали и о том, как неумело и по-ребячьи беспомощно Сергей и Марина «рожали» свою первую девочку. Словом, я была уже заочно знакома с этой юной четой. Так что не удивилась, когда меня позвала по телефону Анна Яковлевна: «Сережа приехал. Приходите скорей». А Елизавета Яковлевна добавила: «И еще один его приятель сейчас придет. Погуляем все вместе. Вы смотрите, какое дивное утро!»

Утро дивное. И очарователен синеглазый стройный Сергей Эфрон, с отпечатком духовного изящества в каждом движении, в каждой черте. И как подкупает эта его сердечная манера, когда с первого слова человек вступает в ваш мир на правах старого друга. И весь он искрится шуткой, сверкает весельем. Так бывает лишь в начале жизни, только ante lucem, только в юности, неугнетенной и неискушенной...

А вот и приятель Сергея. Но ведь я видела уже — где-то уже видела я — этот быстрый недоверчивый взгляд и этот высокий лоб, и этот задорный петушиный хохолок надо лбом, и эту манеру — закинув голову, будто сверху вниз — разглядывать собеседника.

Сергей Эфрон называет своего друга:

— Это — Осип Эмильевич Мандельштам. Он вчера приехал из Москвы.

— Да? А мне еще на прошлой неделе говорили, что Осип Эмильевич вчера приехал из Москвы...

— Но ведь это хроническое состояние Мандельштама, что он вчера приехал из Москвы, — поясняет Эфрон. — Вы, видно, мало его знаете...

— Мало? Совсем не знаю. Мы только раз говорили по телефону.

Мгновенно Мандельштам впадает в пафос и, закинув голову, становится как будто выше ростом.

— Как, это вы? Ах, это вы! Как я рад! Это было так грустно!.. Так неудачно!..

— Что случилось? — недоумевает Эфрон. — О чем он скорбит?

— Он опоздал на празднество Елены, — подсказываю я.

— Да... да! Я опоздал на празднество Елены! Ах, как жалко! Ах, как жалко!

— Опоздал? Это его второе хроническое состояние, — сообщает Сергей Яковлевич.

И хохочет, и по-мальчишески дразнит угрюмого Мандельштама. Но кто сказал, что Мандельштам угрюм? Он светел и добр, он смеется вместе со своим веселым другом. На них обоих играет золотой отблеск этого весеннего утра. Какое прелестное, воистину доброе утро! Какая прелестная, добрая юношеская дружба! Это чувства подлинные, это мир, очищенный от злобы, от гнева, от недоверия...

Елизавета Яковлевна тормозит нас и торопит:

— Одевайтесь! Одевайтесь! В такую погоду сидеть дома?! Грех, грех незамолимый!

Вчетвером шагаем по Невскому. Солнце, весенний воздух, торопливый поток прохожих, оживленных, нарядных, несмотря на то, что идет уже второй год войны.

Заходим в кафэ «Амбир». Занимаем уютный столик. Здесь, в кафэ — всё еще пытаются жить довоенным духом. Всё так же крепко варится кофе, всё так же сладки пирожные, услужливы официанты, элегантны дамы. И дамские шляпы так же огромны, и всё так же колышутся на шляпах «траурные перья» — это донашиваются громоздкие моды последних предвоенных лет.

Но приметы времени проникли и сюда. С бодрым возгласом: «Он бросил на стол кипу ассигнаций!» — Эфрон оставляет у своего прибора чаевые: несколько миниатюрных синих

чеков на плотной бумаге, с рисунком почтовой марки и со штампом на обороте: «Имеет хождение наравне с разменной монетой». Это «имеет хождение» настраивает нас на современную тему. Вспоминаем популярную формулу: «Прапорщик имеет хождение наравне с офицером», — и некоторое время разговор вертится около офицерских школ, прапорщиков и земгусаров. Я рассказываю услышанную накануне новость:

— Говорят, Блок ушел на войну добровольцем...⁸

— Не может быть! — срывается Елизавета Яковлевна. — Это было бы ужасно!

— Почему ужасно? — вдруг помрачнев, возражает ее брат. — Быть может, нам всем следует идти на войну?

— Я не вижу, кому это следует. Мне — не следует! — Мандельштам закидывает голову; сходство его с молодым петушком увеличивается. — Мой камень не для этой пращи. Я не готовился питаться кровью. Я не готовил себя на пушечное мясо. Война ведется помимо меня.

— Война проигрывается, — зловеще шепчет Елизавета Яковлевна. — Идти сейчас на фронт — безумие, бессмыслица...

— Война проигрывается, — повторяет Сергей. — Тем больше оснований нам идти на фронт...

— Как, Сережа! Ты пойдешь защищать самодержавие?! — У Елизаветы Яковлевны даже слезы в голосе задрожали.

— Есть многое, помимо самодержавия, что я пойду защищать. Еще есть. Быть может, скоро не будет.

— Неудачные войны всегда ведут к переворотам, — заявила непреклонно Елизавета Яковлевна.

Мы все знали, что она хочет сказать. Кто-то из нас вымолвил — или мы все сразу произнесли — слово «революция». Это слово жгло нам губы. Оно висело в воздухе. «Революция будет!» — говорили в госпиталях раненые солдаты. «Революция готовится», рассказывали «милосердные сестры», побывавшие на фронте... «Революция назревает!» — утверждали приехавшие в отпуск молодые офицеры — прапорщики из студентов. Да, она близилась, мы слышали ее голос, и, словно Блоковские мистики, окликали друг друга:

— Ты ждешь? — Я жду. — Уж близко прибытие...

Мы верили — оно близко. Мы не представляли и не предполагали — как оно произойдет, и что — какие страшные кон-

кретности, какие потоки огня и крови польются на нас вслед за этим. Мы знали одно: это неизбежно. Близится животворящая буря, не останется камня на камне от старого мира, привычного нам с рожденья. И мы радостно — да, радостно! — приветствовали ее, эту бурю, это великое преображение жизни.

В то светлое утро мы четверо говорили о близости страшных событий, и речи наши были сдержанны, слова подобающе серьезны, а голоса помимо воли звенели восторгом, — как будто в канун великого праздника. Потому что мы все были в таком расцвете юности, в таком победном и радостном состоянии духа, когда не пугает никакая катастрофа, никакой переворот не страшен. В это время пугает только ровный путь без катастроф, страшно только прожить жизнь без переворотов.

Никто не предвидит своего будущего. Какое счастье!

А днесь... О, если бы тебе тогда приснилось,
Что будущность для вас обоих берегла...

Могли ли мы подозревать, какие удары обрушатся на нас всех — и как скоро, и как беспощадно. И как мало, какие жалкие крохи дано будет нам уберечь от нашего душевного богатства, от нашей молодой искренности, от бескорыстия наших сердец.

Гоголь учит: «Забирайте с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет, забирайте с собою все человеческие движения, — не оставляйте их на дороге». И я, пускаясь в долгие скитания, захватила с собой все светлые впечатления моих ранних лет. В ряду этих светлых впечатлений — солнечный день петербургской весны и освещенные душевным горением молодые лица Сергея Эфрона и Осипа Мандельштама.

* * *

Это я провожала мою последнюю девичью весну. Осенью 1916 года я вышла замуж.⁹ Мы с мужем однолетки, оба студенты и оба филологи.

Мы встретили новый, 1917-й год в «Привале Комедиантов»,¹⁰ в модном подвале у Марсова Поля. В «Привале» былолюдно и шумно, и очень красочно. Абстрактного искусства тогда еще не было, но самые видные из левых художников приложили руку к сводчатым стенам подвала, покрытым смелой и необычной живописью. На столиках вместо скатертей лежали деревенские цветные платки. Электрические лампочки загадоч-

но струили свет сквозь глазные отверстия черных масок. Столики обслуживали арапчага в цветных шароварах. Подобно гению этого места, улыбалась гостям хозяйка — молодая брюнетка восточного типа, в эффектнейшем платье, сочетавшем белое, красное и золотое. Ее муж, директор подвала Б. К. Пронин¹¹ ходил между столиками, а за ним брела какая-то беспородная шавка, изображая или символизируя «Бродячую Собаку», предшественницу «Привала Комедиантов».

Мы с мужем заняли отдельный столик. Нам никого не было нужно, нам нравилось «одиночество вдвоем». У нас не хватило денег на вино, но мы опьянели от этой причудливой обстановки.

Поблизости от нас, между стриженной белокурой головкой Марии Левберг¹² и темной высокой прической Маргариты Тумповской,¹³ обозначился острый профиль Мандельштама, его высокий лоб. Пронин наклонился к Мандельштаму, что-то ему прошептал. Мандельштам сердито закинул голову, его длинные густые ресницы дрогнули, — он упорствовал, — но обе соседки, справа и слева, взяли его под-руки и заставили встать. Пронин своим приятным певучим голосом поздравил гостей с Новым Годом и объявил, что сейчас мы услышим новые стихи Осипа Мандельштама.

И мы услышали их. В то время все поэты, читая стихи, более или менее соблюдали законы ритма, — но чтение Мандельштама было больше, чем ритмично. Он не скандировал, не произносил стихи, он пел как шаман, одержимый видениями.

Мандельштам пел, не сдерживая сил, он вскрикивал на ударениях — и, вероятно, эти донельзя насыщенные, эти предельно эмоциональные стихи невозможно было бы донести до слушателей иными средствами. Прочитанные обветшавшим «выразительным» способом, эти стихи выглядели бы как пародия. У Мандельштама они звучали как заклинание. В ту новогоднюю ночь он пропел нам стихи о войне, — о европейской войне, что длилась с ранней осени 1914 года и теперь готовилась захлестнуть 1917-й. Патриотический лексикон военных стихов того времени начисто отсутствовал. Не было в этих ямбах ни коварных тевтонов, ни наших непобедимых штыков и ядер, ни даже сверхсовременных, не вполне еще освоенных дирижаблей и цепелинов. Поэт пропел о том, как вступают в битву лев, петух, орел. Не лев из зоопарка, не петух из курят-

ника, а существа мистической силы — ведущие начала европейской истории в гриме геральдических зверей. Стихи были фантастичны, страшны, неотразимы. Они, кажется, никогда не появились в печати. Было в «Tristia» нечто похожее («Зверинец»), но не то.¹⁴ Впрочем, он не раз переделывал стихи до неузнаваемости; нередко возвращался и к прежним замыслам.

Он пропел до конца: горящие глаза погасли, темные ресницы почти сомкнулись. Экстаз кончился. Осип Эмильевич сел рядом со мной, — уже будничным, уже не вдохновенный.

Я спросила, будут ли опубликованы эти стихи. Он ответил: «Во всяком случае не теперь. Может быть — после войны». И добавил:

— Боюсь, что мы все долго не будем появляться в печати. Идут времена безмолвия.

Я только повела на него изумленным взглядом. Ничего я не поняла. А над городом уже стояла голубая морозная полночь, — первая ночь первого революционного года.

Мы расстались на несколько лет.

* * *

Новая веха жизни и новая встреча с Мандельштамом. И так причудливо получилось, что опять мы встретились в святочный вечер на переломе 1920 и 1921 годов.

Три года я провела в Поволжье, видела гражданскую войну, голод, разруху. В последний вечер 1920 года я, как из другого мира, возвратилась в Петроград. Поезда ходили вне графиков и расписаний, и никто не встретил меня. Извозчиков не было. На Московском вокзале нашелся бойкий гаврош с салазками. Я привезла родным неслыханный дар: три пуда муки. Мой мешок улегся на салазки, а я пошла за ними, направляясь к Летнему Саду. Я шла как оглушенная, едва узнавая пустые, неосвященные улицы с их глухо запертыми парадными, с их сугробами снега до вторых этажей.

И вот я на родине, — но в чужой квартире, в незнакомой обстановке. Неуверенно спрашиваю о людях мне дорогих — и безрадостно звучат ответы. Мало кто уцелел из моих гимназических подруг, из университетских друзей. Одни покинули Страну Советов, другие ушли из жизни. Страшные годы пронесли над Россией.

По приезде я разыскала Рождественских — Всеволода и Инну.¹⁵ Они жили на углу Невского и Мойки — в Доме Ис-

куств (бывшее Благородное Собрание — «Сумасшедший корабль» Ольги Форш).

Вечером в «Корабле» толпился народ. Туда запряталось всё, что еще уцелело от литературы, и туда прибилося всё новое, что в ней зарождалось (за исключением, разумеется, искусства Пролеткульта). Анфилада гостиных сияла огнями. Женщины удивляли развязным тоном. Для меня были новостью густо накрашенные рты, — они кроваво рдели, а поблекшие лица выдавали всю горечь, всё напряжение голодных и трудных лет. В кипучем людском движении я различила элегантный облик Николая Оцуца, милое лицо Кати Малкиной, гордый профиль Анны Радловой, узнала Акима Волынского, Я. Н. Блоха¹⁶ и, наконец, Мандельштама. Все, все осунулись, все постарели, все смотрели беспокойно и невесело, и, глядя на каждого из них, я думала: «Живым, живым казаться должен он».¹⁷ ...Люди усердно старались казаться живыми, а я не могла отделаться от ощущения, что брожу среди призраков. Уж очень не совпадали мои поволжские впечатления с этими нарядами, с этими яркими губами, с этими псевдобеззаботными разговорами.

У меня завязалась тихая беседа с Мандельштамом. Мы углубились в какие-то давние воспоминания, когда перед нами возникла блистательная Лариса Рейснер.¹⁸ В живописном платье из тяжелого зеленого шелка, соблазнительная и отлично это знающая, она стояла как воплощение жизненной удачи, вызывающего успеха, апломба. Какой контраст с тем, что я видела в глубине России! Какой невыносимый контраст.

Я что-то сказала Мандельштаму относительно этого контраста, этого страшного разрыва между социальными группами, между теми невероятными трудностями, с которыми борется русская провинция, русская деревня, и этим привилегированным, пресыщенным, беспечальным существованием.

Мандельштам из-под густых ресниц рассматривал великолепную Ларису и внушительно говорил:

— Совсем недавно еще она была в нашем положении. И надо сознаться, что она его переносила неплохо. А теперь...

— А теперь она блистает в вашем кругу.

— Мы приняли ее в наш круг не потому, что она занимает блестящее положение, а несмотря на то, что она его занимает.

Подошли Рождественский, Оцуп; наш разговор снова преврался — надолго, надолго.

* * *

«В Петербурге мы сойдемся снова...»^{18а}

Почти семь лет прошло в жизненных битвах. Только в конце 1927 года я обосновалась опять в моем родном городе, теперь уже принявшем имя Ленинграда. Литература стала моей профессией.

Конец двадцатых годов прошел у меня без встреч с Мандельштамом. Он был то в Москве, то на Кавказе; если приезжал в Ленинград, то ненадолго и без широкого общения с людьми. Даже слухов о нем до меня не доходило. Или доходили самые невнятные.

Люди большой литературной культуры (Стенич)¹⁹ говорили о Мандельштаме, не боясь слова «гениальность»; называли Осипа Эмильевича в ряду лучших русских поэтов. Литературные прихлебатели, которых в Доме Печати было хоть пруд пруди, — повторяли анекдотцы насчет его заносчивости, неуживчивости и даже невменяемости. Повидимому, друзей у него было немного.

Тон в литературных организациях задавали вожаки РАППА'а (у нас ЛАППА'а)²⁰. Возникли высочайшие салоны, династически и идеологически связанные с органами госбезопасности. На этой почве культивировалась литература — в небольших количествах, и авантюра — в количествах чрезвычайных. Возникли убийственные методы литературной полемики. Судя по всему, в одном из таких высоких московских салонов зародилась формулировка «внутренний эмигрант» применительно к Мандельштаму. Спущенная сверху, формулировка эта вскоре докатилась до литературных коридоров. В условиях культа личности писатель с таким штампом мог смело считать себя обреченным.

Имя Мандельштама из печати почти исчезло. В 1928 году вышел сборник «Tristia»²¹ — книга великой скорби и высокого мастерства, — и опять этот трагический голос умолк. Изредка на страницах журналов мелькали строфы, полные музыки, свежести и силы. Короткий праздник для тех, кто любил, кто лелеял Слово, — а потом снова глухое молчание. Только по рукам ходили шедевры: «За высокую доблесть грядущих веков»,

«Жил Александр Герцевич, еврейский музыкант...»²² Их потаенно переписывали и с тщательной оглядкой читали.

В 1932 году мы дожили до ликвидации РАПП'а. То ли в порядке некоторой естественной оттепели, то ли по счастливому стечению обстоятельств, но в начале 1933 года стало известно, что Ленинградский Дом Печати предоставил свою трибуну для творческого выступления Мандельштама. Не было ни анонсов, ни афиш — никакой рекламы. Но довольно вместительный зал оказался набит битком. Молодежь стояла в проходах, толпилась в дверях.

Мандельштам читал, не снижая пафоса; как всегда, он стоял с закинутой головой, весь вытягиваясь, — как будто налетевший вихрь сейчас оторвет его от земли. Волосы, сильно уже поредевшие, всё так же непреклонно вздымались над крутым и высоким лбом. Но складки усталости и печали легли уже на этот чистый лоб мечтателя.

«Он постарел!» — говорили в толпе. — «Облезлый какой-то стал! А ведь должен быть еще молод...»

Мандельштам читал о своем путешествии по Армении — и Армения возникала перед нами, рожденная в музыке и в свете. Читал о своей юности: «И над лимонной Невою, под хруст сторублевой, мне никогда, никогда не плясала цыганка», — и казалось, что не слова сердечных признаний, а сгустки сердечной боли падают с его губ. Его слушали, затаив дыхание, — и всё росли, всё усиливались аплодисменты.

Но по залу шныряли какие-то недовольные люди. Они иронически шептались, они морщились, они пожимали плечами. Один из них подал на эстраду записку. Мандельштам огласил ее: записка была явно провокационного характера. Осипу Эмильевичу предлагалось высказаться о современной советской поэзии. И определить значение старших поэтов, дошедших до нас от предреволюционной поры.

Тысячи глаз видели, как Мандельштам побледнел. Его пальцы сжимали и комкали записку... Поэт подвергался публичному допросу — и не имел возможности от него уклониться. В зале возникла тревожная тишина. Большинство присутствующих, конечно, слушало с безразличным любопытством. Но были такие, которые и сами побледнели. Мандельштам шагнул на край эстрады; как всегда — закинул голову, глаза его засверкали...

— Чего вы ждете от меня? Какого ответа? (Непреклонным, певучим голосом): — Я — друг моих друзей!

Полсекунды паузы. Победным, восторженным криком:

— Я — современник Ахматовой!

И — гром, шквал, буря рукоплесканий...

* * *

Жизнь, как калейдоскоп, меняла свои стеклышки. Совершенно неожиданно я встретила Осипа Эмильевича на отчетном выступлении Гептахора.

Студия художественного движения Гептахор в тридцатых годах в Ленинграде имела хорошую репутацию. Работа Гептахора сливалась с ритмической школой Далькроза и со школой античного танца Айседоры Дункан. Ученики студии — преимущественно молодежь школьного возраста одетые в античные хитоны, с обнаженными руками и ногами, иллюстрировали вольными движениями классическую музыку. Это делалось с большим вкусом; детские тела, проникнутые музыкальными ритмами, выглядели очаровательно. Я была связана с Гептахором родственными отношениями, — моя старшая дочь,²³ которой в то время было лет 14-15, с увлечением, переходящим в энтузиазм, уже несколько лет участвовала в занятиях студии. К сегодняшнему концерту Гептахор хорошо подготовился; были показаны и сольные, и массовые, тщательно срепетированные этюды.

Возле меня оказался Мандельштам. В перерыве моя дочка подошла к нам, — радостная, возбужденная. — «Хорошо?» — спрашивала она всем своим видом.

— Мило, приятно, — сказал Мандельштам, — но насколько всё же искусство классического балета сильнее и глубже...

На лице у девочки изобразился ужас.

— Вы — за классический балет? А Гептахор, по-вашему, не искусство?

У нее было свое *credo*. В студии «свободного музыкального движения» начисто отвергали классический балет, — отвергали с отвращением, с негодованием...

Осип Эмильевич стал объяснять:

— Я не говорю, что Гептахор чужд искусства. Но в искусстве танца, как и во всех искусствах, есть первая ступень изучения, есть азбука, алфавит. И вот, если Гептахор усвоил пять-шесть первых знаков этого алфавита, то классический

балет — и особенно русская школа балетного танца — знает все тридцать или тридцать пять знаков. Судите сами, кто же свободнее и за кем мне больше хочется идти.

Он посмотрел на девочку, на ее негодование, ее волнение, — и остановился.

— Кажется, вы обиделись? Тогда — простите меня. Простите меня, — повторил он бережно, мягко. — Я не хотел порочить то, что вы так любите. Но, видите ли, искусство не знает полу-правды. А вы останетесь на второе отделение? — спросил он меня. — Я, к сожалению, должен идти.

Он сердечно простился с нами. Дочка смотрела ему вслед.

— Мама! — сказала она, обратив ко мне свои серьезные глаза, — ты знаешь, — он действительно большой человек.

* * *

Не всё хочется вспоминать. Но из песни слова не выкинешь.

В течение зимы 1932-1933 г. всё чаще говорилось о каких-то недоразумениях вокруг Мандельштама, о вечных ссорах, вспыхивавших по пустяковому поводу, о преувеличенном болезненном раздражении с его стороны. Он держал себя как человек с глубоко пораженной психикой. Литературные деятели Москвы держались с ним как недруги, как чужие люди. К тому же в это время Мандельштам материально был очень стеснен. И вот пронесся слух, что московский писатель Саркис Амирджанов (Сергей Бородин)²⁴ учинил дебош в квартире Мандельштама и оскорбил Надежду Яковлевну,²⁵ — его «нежняночку», его драгоценного друга. Товарищеский суд под председательством А. Н. Толстого вынес какую-то очень двусмысленную резолюцию, вроде того, что Мандельштамы сами де виноваты.

Приблизительно в середине 1934 года Мандельштам с женою опять посетили Ленинград. Я увиделась с ними у нашей общей приятельницы, Л. М. В.²⁶ Добрая Л. М. обращалась с Мандельштамом как с больным ребенком. В силу этого, разговор прошел сравнительно мирно. Но общий тон его беседы был невозможно тяжел. Чувствовалось, что желчь в нем клокочет, что каждый нерв в нем напряжен до предела.

Мы расстались, условившись завтра утром встретиться в «Издательстве Писателей в Ленинграде». Оно тогда помещалось внутри Гостиного Двора.

В назначенный час я приближалась к цели, когда внезап-

но дверь издательства распахнулась, и, чуть не сбив меня с ног, выбежал Мандельштам. Он промчался мимо; за ним Надежда Яковлевна. Через секунду они скрылись из виду. Несколько опомнившись от удивления, я вошла в издательство и оторопела вконец. То, что я увидела, — напомнило последнюю сцену «Ревизора» по неиспорченному замыслу Гоголя. Среди комнаты высилась мощная фигура А. Н. Толстого; он стоял, расставив руки и слегка приоткрыв рот; неопишное изумление выражалось во всем его существе. В глубине, за своим директорским столом застыл И. В. Хаскин с видом человека, пораженного громом. К нему обратился всем корпусом Гриша Сорокин,²⁷ как будто хотел выскочить из-за стола, и замер, не докончив движения, с губами, сложенными, чтобы присвистнуть. За ним Стенич, — как повторение принца Гамлета в момент встречи с тенью отца. И еще несколько писателей, в различной степени и в разных формах изумления, были расставлены по комнате. Общее молчание, неподвижность, общее выражение беспримерного удивления, — всё это действовало гипнотически. Прошло несколько полных секунд, пока я собралась с духом, чтобы спросить: «Что случилось?» — Ответила З. А. Никитина,²⁸ которая раньше всех вышла из оцепенения:

— Мандельштам ударил по лицу Алексея Николаевича.

— Да что вы! Чем же он это объяснил? — спросила я (сознаюсь, не слишком находчиво).

Но уже со всех сторон послышались голоса: товарищи понемногу приходили в себя. Первый овладел собою Стенич. Он рассказал, что Мандельштам, увидев Толстого, пошел к нему с протянутой рукой; намерения его были так неясны, что Толстой даже не отстранился. Мандельштам, дотянувшись до него, шлепнул слегка, будто потрепал его, по щеке и произнес в своей патетической манере: «Я наказал палача, выдавшего ордер на избивание моей жены».

Издательство наполнилось людьми. Откуда ни возьмись, появился М. Э. Казаков²⁹ и со всех силенок накинулся на Толстого.

— Выдайте нам доверенность! — взывал он. — Формальную доверенность на ведение дела! Предоставьте это дело нам! Мы сами его поведем!

— Да что я — в суд на него, что ли, подам? — спросил Толстой, почти не меняя изумленного выражения.

— А как же? — кричал Казаков. — Безусловно в суд! В народный суд! Разве это можно оставить без последствий?

— Миша, опомнись, побойся Бога! — увещевал его Стенич. — Причем тут народный суд? Разве это уголовное дело?

— Это дело строго литературное, — изрек своим тоном философа Гриша Сорокин. И с тихой ехидцей добавил: — На чисто психологической подкладке.

— Нет, я не буду подавать на него в суд, — объявил Толстой.

— Алексей Николаевич! Да что вы! Да разве можно?

Уже не один Казаков, а двое-трое товарищей бросились убеждать Алексея Николаевича. Все жаждали крови, всем не терпелось как можно скорее, как можно строже засудить Мандельштама. Никто не вспомнил о его больных нервах, о его трудной жизни, о его беспримерном творчестве.

Суд этот, насколько я знаю, не состоялся или кончился ничем. Мандельштама ожидали другие испытания. Он очутился в поле воздействия мрачных сил.

Дальнейшая жизнь его — это цепь репрессий. Осип Эмильевич прошел тяжелую ссылку в Чердынь, потом — несколько легче — ссылку в Воронеж.

Всюду, куда только было можно, его верная спутница Надежда Яковлевна следовала за ним.

Летом 1937 года они вдвоем заглянули ненадолго в Ленинград. Мандельштам приехал с тетрадкой стихов «Воронежского цикла», покорила друзей их взволнованной музыкой. По инициативе Стенича была сделана небольшая складчина, — друзья собрали немного денег, белья, вещей, ибо Мандельштам был без копейки, он обносился, ходил чуть ли не босиком.

Настала минута прощанья. Несколько близких собрались на Московском вокзале. Мандельштам со своей «нежничкой» спешили навстречу лишениям, навстречу, может быть, гибели. Имуущество Осипа Эмильевича было увязано в неказистый узелок. В ожидальном зале возвышалась искусственная пальма трактирного типа. На ветвь этой пальмы Мандельштам повесил свой скудный узелок и, обратившись к Стеничу, сказал: «Странник в пустыне!» Друзья смеялись и плакали. Бедный узелок на пальме — в этом образе вдруг сконцентрировалась

судьба поэта, его страннически неумолимая судьба. И как было тут не вспомнить вещие слова другого великого русского поэта:

Странником в мире ты будешь.
В этом твое назначение,
Радость-Страданье твое...³⁰

В скором времени в Ленинграде узнали, что Мандельштам находится в заключении. И вот, слухи о нем прекратились.

* * *

Литературный быт трещал под ударами сталинских мероприятий. Уже гораздо больше друзей моих находилось по ту сторону решеток, чем по эту. Катастрофа приближалась, почва уходила из-под ног.

В марте 1938 года компетентные органы пристально мною занялись, а осенью 1939 года я была доставлена на берег Охотского моря.

Там, в лагпункте Балаганное я встретила очень доброжелательную, но — не тем будь помянута! — очень путаную Е. М. Н.³¹

Рассказывая мне свою страдальческую повесть, она упоминала, что в 1936 году³² работала в Чердынской тюремной больнице; в это время там содержался один писатель.

— Как его звали?

— Иосиф Мандельштам.

Я ухватилась за эту ниточку, стала разматывать. Приметы, в ее описании, как будто совпадали.

— Чем он болел?

— Абсолютным психозом.

— На какой почве?

— А на такой почве, что сегодня в шесть часов его расстреляют. И каждый день к шести часам начинал психовать. Забьется в угол, трясется весь, кричит, что сейчас его возьмут на расстрел. Ну — трахнутый абсолютно, что вы будете делать?

— А лечили его?

— Лечить было нечем. Просто — переводили часы на два часа вперед. Он видит — восемь часов, а за ним никто не приходил. Посмотрит-посмотрит — и успокоится.

— Стихов он не писал?

Этого Е. М. не знала... Из Чердыни его куда-то увезли. Куда — неизвестно.

Такую сбивчивую информацию я получила в конце 1939 года. Летом 1943 года меня перевели в Магадан. Там я связалась с товарищем моей пушкиноведческой юности Ю. Г. О.³³ Началась наша «переписка из двух углов». В первом же письме Ю. Г. упомянул о смерти О. Э. Мандельштама! Я не могла поверить, просила подтверждения. Ю. Г. ответил: — «К несчастью, это верно. Я говорил с товарищами, бывшими при нем до конца, говорил с врачами, закрывшими ему глаза. Он умер от нервного истощения, на транзитном лагпункте под Владивостоком. Рассудок его был помрачен. Ему казалось, что его отравляют, и он боялся брать пайку казенного хлеба. Случалось, что он съедал чужую пайку (чужой хлеб не отравлен), и Вы сами понимаете, как на это реагировали блатари. Оборванный, грязный, длиннородый, М. до последней минуты слагал стихи; и в бараке, и в поле, и у костра он повторял свои гневные ямбы. Они остались незаписанными, — он умер

За музыку сосен савойских,
За масло парижских картин».³⁴

На этом кончалось письмо. В подслеповатом свете дежурной лампочки я разбирала кружевной почерк Ю. Г. Разобрать было нелегко: прежде, чем дойти до меня, письмо побывало и в потных подмышках, и в грязных ботинках. Зловонный барак распирало от человеческих испарений. На двухэтажных нарах «вагонной системы» копошились жалкие женщины, навязанные судьбой мне в подруги. Они вели свои бесконечные разговоры, в которых каждое второе слово было проклятие, каждое третье слово — непристойность.

А у меня из подспудной глубины сознания выступали бесмертные строки:

Ничего, голубка Эвридика,
Что у нас суровая зима!

.

Чтобы вечно ария звучала:
Ты вернешься на зеленые луга! —
И живая ласточка упала
На горячие снега.³⁵

П Р И М Е Ч А Н И Я

¹ *Жирмунский*, Виктор Максимович (р. 1891) — известный ученый, лингвист и литературовед, автор трудов о немецком и английском романтизме, о фольклоре, о поэзии Блока, о стихосложении и т. д. Профессор Саратовского, а затем Ленинградского университета.

² *Никольский*, Юрий Александрович (189?-1922), участник Пушкинского семинария С. А. Венгерова, друг Б. М. Эйхенбаума, критик и литературовед, автор работ о Тургеневе и Достоевском и о Фете. В 1920 г. эмигрировал из Крыма и жил в Белграде, но потом вернулся нелегально в Россию, кажется, с целью вывезти оттуда близких ему людей, заболел тифом в Харькове и там скончался. Некролог Ю. А. Никольского, написанный П. Б. Струве, был напечатан в пражской «Русской Мысли» (1922, кн. VI-VII).

³ Речь идет о первом издании «Камня» в 1913 г. В 1916 г. вышло второе, значительно дополненное издание.

⁴ Общим учителем в гимназии Стоюниной и Тенишевском училище был во всяком случае В. В. Гиппиус.

⁵ В. Г. Р.: кто обозначен этими инициалами, нам не удалось установить.

⁶ Строки из стихотворения О. Э. Мандельштама.

⁷ Анна Яковлевна Т., ур. Эфрон — сестра С. Я. Эфрона, мужа поэтессы Марины Цветаевой. Несмотря на опрос ряда друзей М. И. Цветаевой, нам не удалось узнать фамилию А. Я. Эфрон в замужестве. Судьба Е. Я. Эфрон, о которой говорится дальше, нам неизвестна. Она была причастна к литературе и театру, занималась переводами. Отец Эфронов был, повидимому, активным членом партии с.-р. Женат он был на племяннице министра внутренних дел Дурново, которая сама была революционеркой. С. Я. Эфрон, который в гражданскую войну воевал в Добровольческой Армии и попал в эмиграцию, был сначала близок евразийцам, а потом стал активным членом Союза Возвращения на Родину во Франции. Замешанный как-то в дело убийства И. Рейса в Швейцарии, он бежал из Франции и вернулся в СССР, где, повидимому, был вскоре расстрелян.

⁸ То, что говорит здесь о Блоке Е. М. Тагер, не совсем точно: в 1916 г. Блок, подлежавший призыву, поступил в инженерно-строительную дружину Земско-Городского Союза и уехал на фронт. Это было 7 июля 1916 г. Похоже поэтому, что то, что описывает Е. М. Тагер, происходило не весной, а ранним летом, на что указывает и цветение сирени.

⁹ Е. М. Тагер вышла в ноябре 1916 г. замуж за Г. В. Маслова, молодого поэта и пушкиниста, участника Венгеровского семинария. Шаферами на свадьбе, происходившей в университетской церкви, были проживающий ныне в Париже В. А. Злобин и известный впо-

следствии своими работами о Достоевском В. Л. Комарович (1894-1942).

¹⁰ «Привал Комедиантов» — известное в Петрограде ночное кафе, заменившее во время войны еще более знаменитую «Бродячую Собаку», место встречи литературно-художественной богемы.

¹¹ *Пронин*, Борис Константинович — актер и режиссер, владелец и «хозяин» «Бродячей Собаки» и «Привала Комедиантов».

¹² *Левберг*, Мария Евгеньевна (1894-1934) — поэтесса и переводчица, печаталась в «Аполлоне» и других изданиях.

¹³ *Гумповская*, Маргарита — поэтесса, сотрудница «Аполлона», где напечатала большую статью о «Колчане» Гумилева. Дальнейшая судьба ее нам неизвестна.

¹⁴ Стихотворение «Зверинец» было напечатано в горьковской «Новой Жизни» в июне 1917 г., затем неоднократно перепечатывалось в разных альманахах между 1917 и 1922 г.г.; в переделанном виде вошло в книгу «Тристан». Возможно, что слышанная Е. М. Тагер версия сильно разнилась от всех печатных.

¹⁵ *Рождественские*, Всеволод Александрович (р. 1895), известный ныне советский поэт, и Инна Романовна, ур. Малкина, разошедшаяся впоследствии с Рождественским и вышедшая замуж за б. секретаря журнала «Аполлон» Валериана Адольфовича *Чудовского*. Вместе с мужем была арестована в Уфе по делу Польского католического центра и погибла в конце 30-х годов.

¹⁶ *Оцуп*, Николай Авдеевич (1894-1958) — поэт, один из основателей второго Цеха Поэтов, позднее эмигрант, основатель и редактор журнала «Числа» в Париже.

Малкина, Катя — младшая сестра И. Р. Малкиной-Рождественской, ученица проф. Ф. Ф. Зелинского и одно время невеста его приемного сына Адриана Пиотровского. Стала в конце 1930-х годов жертвой грабителя, пробравшегося к ней в квартиру под видом электромонтера. В 20-х и 30-х годах выступала как критик в советских журналах (статьи о Блоке, об Иннокентии Анненском). Ей посвящено следующее неопубликованное шуточное стихотворение Б. М. Эйхенбаума:

Белый галстучек на груди
И за поясом финский нож.
Я единственная среди
Бестужевских книгонош.

Я напрасно не трачу слов —
Говорят другие пусть...
Но господ профессоров
Я совсем, совсем не боюсь.

Жизнь — задумчивый старый парк,
 Где шедестят тополя.
 Я на курсах Жанна д'Арк,
 У которой нет короля.

Радлова, Анна Дмитриевна (1891-1951) — поэтесса, переводчица Шекспира, жена известного драматурга и режиссера С. Э. Радлова. Во время войны 1941-1945 г.г. оказалась вместе с труппой театра своего мужа на захваченной немцами территории. Под конец войны она и ее муж были интернированы в лагере Борегар под Парижем, откуда по окончании войны добровольно репатриировались и попали в советский концентрационный лагерь под Рыбинском, где А. Д. и умерла. Муж ее, освобожденный в 1954 г. (?), скончался в 1958 г.

Волинский, Аким Львович (настоящая фамилия Флексер, 1863-1926) — известный критик, мыслитель, историк искусства и балета.

Блох, Яков Ноевич — владелец издательства «Петрополис».

¹⁷ Строка из стихотворения А. Блока.

¹⁸ *Рейснер*, Лариса Михайловна (1895-1926) — поэтесса. В 1915-16 г.г. основала и редактировала журналы «Богема», «Рудин». Вскоре после революции вышла замуж за известного большевика Ф. Раскольникова (Ильина). Вместе с ним командовала на Волге и Каме речной флотилией против белых. Когда ее муж стал советским послом в Афганистане, она сопровождала его туда. В последние годы жизни была близка к Карлу Радеку.

^{18a} Первая строка стихотворения Мандельштама, написанного в 1920 г.

¹⁹ *Стенич* — псевдоним Валентина Иосифовича *Сметанича* (годы рождения и смерти неизвестны), поэта, переводчика, близкого друга Юрия Олеси. Стенич переводил Джойса и Дос-Пассоса, двух западных писателей, которые в конце 20-х и начале 30-х годов стали символом западного упадочничества. Переводы эти печатались в «Звезде» и других журналах. Первое упоминание о Стениче в литературе — в статье Александра Блока «Русские дэнди» (июнь 1918 г.). Здесь Блок передает подробно свой интересный разговор со Стеничем, не называя его. В краткой записи об этом разговоре в дневнике Блока под 31 января 1918 г. он назван «юноша Стэнч». Стенич был арестован и, повидимому, расстрелян в 1938 г.

²⁰ РАПП — Российская Ассоциация Пролетарских Писателей. ЛАПП — Ленинградское отделение той же Ассоциации.

²¹ Автор воспоминаний, очевидно, допустил опisku: в 1928 г. вышел последний сборник стихотворений Мандельштама под названием «Стихотворения». В него вошли стихи и из сборника «Тристиа», который вышел еще в 1922 г.

²² Эти стихотворения Мандельштама стали известны на Западе

сравнительно недавно; одно из них напечатано впервые в нью-йоркском издании сочинений Мандельштама (1955), другое — в журнале «Опыты» (Нью-Йорк), 1956. № 7.

²³ Речь идет о дочери Е. М. Тагер от брака с Г. В. Масловым, Авроре (названной так в честь героини поэмы Маслова, Авроры Карловны Шернваль). Аврора Маслова, родившаяся в 1919 г., умерла в 1937 г.

²⁴ *Амирджанов*, Саркис: имеется очевидно, в виду писатель Сергей Петрович *Бородин* (р. 1902), до 1941 г. печатавшийся под псевдонимом «Амир Саргиджан». Он прославился своим романом о Дмитрии Донском (1941), а также написал ряд романов из жизни и истории Средней Азии.

²⁵ Надежда Яковлевна (ур. Хазина) — жена О. Э. Мандельштама.

²⁶ Л. М. В.: кому принадлежат эти инициалы, нам неизвестно.

²⁷ *Сорокин*, Григорий — ленинградский поэт, выпустивший в конце 20-х годов сборник стихов.

²⁸ *Никитина*, З. А. — может быть, жена писателя Н. Никитина, одного из «Серапионовых братьев»?

²⁹ *Казаков*, Михаил Эммануилович (1897-1955) — автор романа «Девять точек», повести «Мещанин Адамейко» и рассказа «Человек, падающий ниц» (на тему об антисемитизме).

³⁰ Строки из пьесы Блока «Роза и крест».

³¹ Е. М. Н.: к кому относятся эти инициалы, мы не знаем.

³² Здесь в рассказе Е. М. Тагер, передаваемом с чужих слов, явная хронологическая путаница: в 1936 г. Мандельштам был уже в Воронеже. Рассказ, очевидно, относится к 1934 г., когда Мандельштам был сослан в Чердынь. Там он покушался на самоубийство, выбросился из окна и сломал себе руку. В том же году, в результате ходатайства его жены, ему было разрешено выбрать другое место ссылки, и он переехал в Воронеж.

³³ Речь идет вне всякого сомнения об Юлиане Григорьевиче *Оксмане* (р. 1894), известном литературоведе, пушкинисте, близком знакомом Масловых в 1915-17 гг. Он был арестован в конце 30-х годов и сослан, как и Е. М. Тагер в Магадан. Возвратился из лагеря в 1948 г. — сначала в Саратов, а позже (в 50-х годах) в Москву, где был связан с Институтом Мировой Литературы имени А. М. Горького. В конце 50-х и начале 60-х годов напечатал ряд новых работ — о Пушкине, Тургеневе, Герцене, декабристах и др.

³⁴ Не совсем точно по памяти восстановленные строки из одного тогда еще не напечатанного стихотворения Мандельштама, где эти строки читаются так:

За музыку сосен савойских, Полей Елисейских бензин,
За розы в кабине роллс-ройса, за масло парижских картин.

Стихотворение это впервые напечатано в альманахе «Воздушные Пути» (1961, II). В 1934 г. известный советский критик А. Селивановский цитировал эти строки как пример того, что у Мандельштама «страстное желание вырваться из круга старых дум и привычек и сблизиться с советской действительностью... перешибается старинными воспоминаниями об ушедшем прошлом».

³⁵ Строки из стихотворения Мандельштама «Пусть мерцает призрачная сцена...» (1920).

Дневник читателя

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ РОССИИ

МНОЮ получены для напечатания два стихотворения скончавшейся в 1964 г. Елены Михайловны Тагер.

Я знал Е. М. и ее мужа, талантливое поэта и пушкиниста Георгия Маслова, в 1915-16 гг., когда оба они были участниками знаменитого Пушкинского семинария С. А. Венгерова, а также принадлежали к одному литературному кружку, в котором и я, будучи тогда еще учеником Выборгского коммерческого училища, бывал вместе с моим одноклассником и другом Сергеем Никольским. (Насколько я знаю, из оставшихся в живых участников этого кружка в эмиграции находится только В. А. Злобин).

В 1917 г. Масловы, поженившиеся в 1916 г., уехали на родину Г. В., в Симбирск, откуда Г. В. в 1918 г. ушел к белым. Е. М. оставалась в Поволжье до конца 1920 г., когда вернулась в Петроград. Позднее обвиненная в «экономическом шпионаже» в связи со своей работой для АРА, она была выслана в Архангельск, где снова вышла замуж. Брак этот оказался неудачным и недолгим. В 1927 г. Е. М. вернулась в Петербург и снова приняла участие в литературной жизни. В 1929 г. вышла книга ее рассказов «Зимний берег».

В 1939 г. она была опять арестована, причем, как и многим тогда, ей были предъявлены фантастические обвинения. В результате суда при закрытых дверях она была приговорена к ссылке на 10 лет. Эти десять лет она провела на Колыме, после чего жила еще «на поселе-

нии» в Зап. Сибири и Средней Азии. В 1954 г. она вернулась в Москву, но только в 1957 г., в связи с «де-сталинизацией», ее окончательно реабилитировали и назначили ей персональную пенсию. Она поселилась снова в Ленинграде, ее стихи стали изредка появляться в печати, была переиздана (но без ед-ва ли не лучшего рассказа) ее книга «Зимний берег» (1957); в одном из университетских изданий были в 1961 г. напечатаны ее воспоминания о Блоке. Она написала книжку об Афанасии Никитине и его путешествии, но книжка эта сначала была отвергнута советскими издательствами и вышла только недавно, уже посмертно. Перед смертью Е. М. работала над романом из жизни В. А. Жуковского, который не успела закончить.

В прошлом году мною были напечатаны в «Новом Журнале» (№ 81, декабрь 1965) интересные воспоминания Е. М. Тагер о встречах с Осипом Мандельштамом, в России никогда не появлявшиеся, а в «Русской Мысли» — ее стихотворение, обращенное к А. А. Ахматовой. Надо надеяться, что и стихи и проза Е. М. Тагер будут когда-нибудь собраны и изданы.

Печатаемые ниже два стихотворения помечены 1960 годом. Если знать биографию Е. М. Тагер, обращение к собственной памяти во втором стихотворении, призыв никого не слушать, не растерять «мучительных примет» не может не звучать трагически.

1

Друзья грустят — спаси нас, Боже! —
Что темы я беру не те,
Редактор сожалеет тоже
Об этой горестной черте.

И критике хватило б дела
С разбором всяких пустяков, —
Когда бы критика глядела
На дно моих черновиков.

Но любо мне, что этих бредней
Никто не нанял, не купил.
Что в час — быть может, мой
последний —
Господь мне силы укрепил,

Чтоб в оный час, не зная страха,
Любя, воистину любя,
Хотя бы раз, восстав из праха,
Могла я выразить себя.
I/60

2

Под старость лет — такое молодое,
Речистое, как утренний прибой,
О, сердце, сердце! Как мне быть
с тобою,
Что делать мне с тобою и с собой?

Когда меня воспоминанья душат,
Мне говорят: «И не было и нет».
О память, память! Никого не
слушай,
Не растеряй мучительных примет.

Все сбереги, И подлинную повесть
Без искажений внукам передай.
Не осуждай, о мстительница-
совесть,
За то, что я жива — не осуждай!
I/60

Ел. Тареп